

АННА ВЕТРОВА

# ПЕСЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО



ИРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Анна Ветрова

**ПЕСЕЦ ПОДКРАЛСЯ  
НЕЗАМЕТНО**

«Автор»

2026

**Ветрова А.**

**ПЕСЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО / А. Ветрова — «Автор»,  
2026**

Если вы думаете, что минус сорок восемь — это холодно, вы просто не видели, как смотрит на тебя начальник промысла, когда в борще мало мяса. Я, Зоя Снегирёва, бывший хормейстер хора ветеранов, устроилась поварихой в вахтовый посёлок «Сладкое». Двести тридцать километров зимника, сухой закон, сто двадцать мужиков, одна лайка-мерзлячка и ручной песец по кличке Аудитор. Через неделю самого строгого человека на месторождении нашли в сугробе возле склада ГСМ. Комендант говорит: выпил и замёрз, обычное дело. Только Геннадий Павлович не пил уже восемь лет, а на камере он идёт к складу живой в тот момент, когда я точно знаю, где была половина посёлка. Метель закрыла зимник, вертолёт не летает, полиция сидит в Ноябрьске. Значит, убийца ест мои котлеты и просит добавки. Осталось понять, кто именно.

© Ветрова А., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 5  |
| Глава 2                           | 10 |
| Глава 3                           | 15 |
| Глава 4                           | 19 |
| Глава 5                           | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

# Анна Ветрова

## ПЕСЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

### Глава 1

Я ненавижу мороз. Согласитесь, странное признание для женщины, которая родилась в Ноябрьске и за сорок четыре года жизни выбиралась на юг ровно три раза. Первый раз в Анапу, в пионерский лагерь, где меня укусила медуза. Второй раз в Сочи, в свадебное путешествие, где меня укусил собственный муж, приняв спросонья мой локоть за кукурузу. Третий раз в Турцию, но там меня никто не укусил, просто не успели: на второй день я сгорела до пузырей и оставшуюся неделю пролежала в номере под кондиционером. С тех пор я сделала вывод: жара меня не любит. Но и мороз можно терпеть только до определённой отметки.

В то утро термометр за окном показывал минус сорок семь. По радио бодрый голос объявил активровку для всех школьников, и со двора тут же донеслись радостные вопли. Почему-то дети, которые не должны идти в школу из-за холода, непременно несутся на улицу строить крепость.

Я натянула на себя два свитера, шерстяные носки, связанные ещё покойной мамой, и пошла в прихожую.

– Пурга, гулять!

Ответом была тишина.

– Пурга! Гу-лять!

Из-под батареи на кухне донёсся тоскливый вздох. Западносибирская лайка Пурга, потомок славных охотничьих собак, которые спят в сугробах и гоняют соболя по тайге, лежала под радиатором и делала вид, что её не существует.

Пургу мне подарил охотник из Ханты-Мансийска, тенор нашего хора Василий Егорович. Вручая пушистый комочек, он торжественно заявил:

– Зоя Ивановна, это не собака, это зверь! Её мать медведя на дерево загнала.

Уж не знаю, какой там была мать, но дочь выросла самой мерзлявой собакой на Ямале. Пурга боится снега. При виде снежинки она садится на попу и смотрит на меня так, словно я лично заказала эту погоду на маркетплейсе. Зимой лайка гуляет только в комбинезоне на синтепоне, жёлтом, с уточками. Других расцветок в зоомагазине не нашлось, а заказать через интернет я не решилась: в прошлый раз вместо тёплых ботинок на собачьи лапы мне прислали четыре сапога для куклы Барби.

– Она не пойдёт, – сообщила с кухни Зинаида Марковна. – И правильно сделает. Зоя, иди сюда, у нас катастрофа!

Я влетела на кухню, потеряв по дороге тапок. В нашей семье слово «катастрофа» может означать что угодно: от прорвавшей трубы до новой серии турецкого сериала, в которой страстный Ахмет наконец узнал, что его возлюбленная Фатма на самом деле его сестра, а сестра на самом деле Таня из Тамбова.

Зинаида Марковна сидела за столом в бархатном халате цвета бордоского вина и сурово смотрела в телефон. На носу у неё сидели очки, на лбу ещё одни, а третьи болтались на цепочке на шее. Для дали, для близи и «для биржи», как серьёзно объясняет она сама.

– Акции упали, – трагическим шёпотом сообщила она. – На два и семь десятых процента.

– И что это значит? – осторожно спросила я.

– Это значит, что мы потеряли сто восемьдесят три рубля.

Я выдохнула. Слава богу, не труба.

Зинаида Марковна – мать моего бывшего мужа Вадима. Да, я знаю, как это звучит. Обычно после развода жена забирает детей, а муж забирает маму. У нас вышло наоборот. Детей нам с Вадиком бог не дал, а маму муж забирать не стал. Он ушёл к инструктору по зумбе Снежане, двадцати двух лет от роду, и перебрался в её студию в новом районе. Уходя, Вадик стыдливо сказал:

– Зоя, ну ты же понимаешь, маме в студии будет тесно.

– Понимаю, – согласилась я. – И коту тоже?

– И коту, – вздохнул Вадик. – И черепахе. У Снежаны аллергия на панцирь.

Так что в наследство от семи лет брака мне достались свекровь, чёрный кот Мазут, черепаха Тундра и кредит за снегоход, на котором Вадик уехал к Снежане. И что вы думаете? Уже через неделю я поняла, что больше всего на свете боюсь, как бы Вадик не передумал и не забрал маму. Зинаида Марковна сорок лет проработала архивистом в газете «Северная вахта». Она помнит всех начальников всех промыслов Ямала, их жён, любовниц и клички их собак. Она варит такие пельмени, что соседи записываются в очередь. А год назад она увидела по телевизору передачу про миллионеров и решила стать инвестором.

Теперь у нас есть портфель. В нём лежат акции на семь тысяч рублей. Каждый день свекровь либо теряет на них сто рублей и пьёт корвалол, либо зарабатывает сто рублей и пьёт коньяк. По моим подсчётам, на корвалол и коньяк уходит больше, чем она заработала за весь год. Но вслух я этого не говорю. У человека должна быть мечта.

– Зая, замри! – раздалось за спиной.

Я замерла. В дверях стоял мой племянник Гошка и целился в меня телефоном.

– Привет, народ! – гаркнул он неестественно бодрым голосом. – С вами канал «Север жжёт»! Сегодня минус сорок семь, и моя тётя сейчас покажет вам, как правильно выгуливать лайку в экстремальных условиях!

– Гоша, убери телефон, я в двух свитерах и без бровей!

– Аутентичность сейчас в тренде, – серьёзно сообщил племянник.

Гошке девятнадцать лет. Он сын моей младшей сестры Леры. Три года назад Лера поехала в Анталию, влюбилась в аниматора по имени Мустафа и осталась там навсегда. Гошка ехать отказался.

– Там жарко и нет контента, – заявил он матери. – А у нас минус пятьдесят, олени и вахтовики. Это золотая жила!

Золотая жила пока принесла Гошке двенадцать тысяч подписчиков и рекламный контракт с магазином тёплых стелек. Расплачиваются с ним теми же стельками. У нас их восемнадцать пар. Одна пара есть даже у черепахи.

Раз уж мы заговорили о семье, пора представиться и мне. Меня зовут Зоя Ивановна Снегирёва. Папа хотел назвать меня в честь своей бабушки Зои, а мама в честь маркизы Анжелики. Спорили они неделю, а потом бросили монетку. Иногда мне кажется, что на этой монетке закончилось моё везение на всю оставшуюся жизнь. В школе меня звали Зоопарком, потому что я вечно таскала домой то котёнка, то ежа, то ворону с подбитым крылом. Гошка с трёх лет зовёт меня Заей, и бороться с этим бесполезно. А ветераны нашего хора называли меня ласково и почтительно – Зоей Ивановной. Это были лучшие годы моей жизни.

Пятнадцать лет я руководила хором ветеранов «Северные зори» при Дворце культуры «Нефтяник». Сорок два пенсионера, средний возраст семьдесят два года, два слуховых аппарата на пятерых и одно на всех желание спеть «Надежду» так, чтобы в зале заплакал даже глава города. И он плакал, честное слово! На День нефтяника в позапрошлом году он подошёл ко мне после концерта, вытирая глаза платком, и сказал:

– Спасибо, Зоя Ивановна. Очень сильно. И вот ещё что, мы ДК на капитальный ремонт закрываем. На два года.

Потом я поняла, что плакал он, скорее, от неловкости.

Хор распался. Пенсионеры разбрелись по внукам и дачам, а бас Иннокентий Петрович вообще женился и уехал в Анапу. Надеюсь, его там не укусит медуза. А я осталась с дипломом хормейстера, абсолютным слухом и полным непониманием, куда теперь деваться. Ну сами подумайте, кому в городе газовиков нужен человек, который умеет по взмаху руки останавливать сорок два голоса? Диспетчеру такси? Гардеробщице?

Полгода я пробовала разное. Давала частные уроки вокала девочке, которая хотела петь как певица из телевизора, но пела как дверь нашего подъезда. Через месяц её мама заявила, что у ребёнка от меня стресс, и перевела дочку на блогерство. Потом я три дня проработала в пункте выдачи заказов и выдала женщине со скандальным характером чужой кухонный комбайн. Вместо её кружевного белья. Надо было видеть её лицо. И лицо мужчины, которому на следующий день досталось бельё.

Деньги таяли, как снег в мае. Вернее, у нас в мае снег как раз лежит, а деньги таяли сильнее. За квартиру плати, кредит за снегоход Вадика плати, Мазуту корм премиум-класса покупай, иначе он стаскивает со стола всё, что лежит дальше двух сантиметров от края. На прошлой неделе он украл свиную рульку, пачку масла и вставную челюсть Зинаиды Марковны. Рульку и масло мы так и не нашли, а челюсть обнаружилась в моём сапоге. Я обнаружила её лично, ногой. Дальше не спрашивайте.

У меня есть толстая зелёная тетрадь, куда я записываю доходы и расходы. Доходы занимают в ней одну строчку в месяц: «Пенсия З. М.». Расходы – две страницы мелким почерком. Как ни стараюсь, строчка не хочет перевешивать две страницы.

И вот в это самое утро, когда акции упали, Пурга отказалась гулять, а Гошка снимал меня без бровей, зазвонил телефон.

– Зойка! – закричала в трубку моя школьная подруга Людка Ковригина. – Зойка, пляши! Я тебе работу нашла!

Людка двадцать лет сидит в отделе кадров фирмы «Сладкоенефтегаз». За это время она устроила на вахту половину нашего класса, двух своих бывших мужей и одного будущего. Работу Людка ищет людям так же, как другие женщины ищут им невест: страстно, бескорыстно и не спрашивая согласия.

– Какую работу? – осторожно спросила я.

– Повара! На «Сладкое»! Там начальник промысла вчера повариху выгнал. Поймал на КПП с полной сумкой говядины. Десять кило! Она говорит, для собаки, а у неё собаки нет, у неё кот, и тот на диете. Короче, место свободно, вахта месяц, выезд послезавтра. Я тебя уже вписала.

На месторождении «Сладкое» я никогда не была, но слышала о нём много. Не спрашивайте, почему его так называли. По одной версии, геологи в шестидесятых нашли там озеро с пресной водой. По другой, у начальника партии был диабет, и он таким образом мечтал вслух. До «Сладкого» двести тридцать километров по зимнику. Летом туда можно добраться только вертолётom, потому что кругом болота. Зимой болота замерзают, и по ним ходит вахтовка.

Я села на табуретку. Мазут тут же запрыгнул на стол и начал подкрадываться к сырникам.

– Люда, ты с ума сошла? Я не умею готовить на сто двадцать человек! Я на троих и то с трудом!

– Это то же самое, – уверенно заявила Людка. – Только кастрюля больше. Там вторая повариха есть, Галюня, она всё знает. Она, конечно, хамка, но ты же с народом умеешь. Ты хором из сорока пенсионеров командовала! Поверь, вахтовики проще. Они хотя бы не спорят, кто будет солировать.

В этом была доля правды. За право спеть соло в «Катюше» у нас однажды подрались две ветеранки труда, и одна сломала другой трость.

– А деньги? – деловито поинтересовалась со своего места Зинаида Марковна. Слух у неё лучше, чем у радара ПВО.

Людка услышала и назвала сумму. Зинаида Марковна сняла все трое очков и тихо сказала:

– Это же полтора снегохода.

– А Пурга? – слабо сопротивлялась я. – Мама не сможет её выгуливать в сорок семь градусов, а Гошку я знаю. Он её выведет, снимет ролик «Лайка и суровая сибирская зима» и забудет её на детской площадке.

– Бери с собой! – закричала Людка. – Я в приказе напишу, что она служебная. У нас там полпосёлка с собаками. И песец ещё живёт возле столовой, Аудитором зовут. Вот и подружатся.

– Почему Аудитором? – не удержалась я.

– Потому что всё проверяет, – объяснила Людка. – Каждую мусорную бочку. И всегда находит недостачу.

Через два дня, в шесть утра, я стояла на промзоне у офиса фирмы «Сладкоенефтегаз». В одной руке у меня была сумка на колёсиках, в другой поводок. На поводке висела Пурга в жёлтом комбинезоне. Именно висела: идти по снегу собака отказалась наотрез, подогнула все четыре лапы и теперь ехала по насту, как санки. За нами тянулась ровная борозда.

У офиса тарахтел оранжевый «Урал» с будкой. Из выхлопной трубы поднимался густой белый дым и сразу замерзал в воздухе. Возле машины курили мужики в одинаковых красных парках с надписью «СНГ» на спине. У всех были надвинуты капюшоны и натянуты до глаз балаклавы. Двадцать человек казались одним человеком, размноженным на ксероксе. Тогда я подумала, что это смешно. Потом мне стало совсем не до смеха.

И только одно пятно выбивалось из красного строя. У самой подножки стояла девушка в розовом пуховике до пят и белых замшевых сапожках на каблуке. На ресницах у неё висел иней, и ресницы от этого были похожи на две зубные щётки.

– Доброе утро! – прошептала она, увидев меня. – Вы тоже на «Сладкое»? Я Анжелика, коуч по корпоративной культуре. Еду изучать эмоциональный фон коллектива. Правда, тут ресурсно?

Я посмотрела на её сапожки. Потом на термометр над дверью офиса. Термометр показывал минус сорок восемь.

– Очень, – честно ответила я. – Вы даже не представляете насколько.

Дорога заняла восемь часов. Я узнала много нового. Например, что в вахтовке можно спать сидя, стоя и на плече у незнакомого сварщика. Что шансон можно слушать восемь часов подряд и даже не сойти с ума. И что Пурга, оказывается, умеет подлизываться к людям. За восемь часов она выпросила у вахтовиков три бутерброда с колбасой, сало и полбанки ступеньки. Анжелика всю дорогу фотографировала тундру и спрашивала у соседей, что они чувствуют по отношению к работе. Соседи чувствовали в основном желание поспать.

В половине третьего, когда короткий январский день уже собирался сдаваться ночи, «Урал» остановился у шлагбаума. За ним в синих сумерках горели огоньки. Расставленные ровными рядами вагончики, длинное здание столовой с трубой, цистерны, ангары, а дальше, в темноте, красные огни вышек и факел. Вот оно, «Сладкое».

Я вытащила из будки сумку, потом Пургу и сделала шаг к воротам. И тут произошло невероятное. Моя собака, которая три года не касалась снега лапами, вдруг вывернулась из ошейника и с визгом рванула куда-то вдоль забора. В сумерках мелькнуло что-то белое и пушистое, за ним жёлтое с уточками.

– Пурга! Стоять! К ноге!

Команда «к ноге» никогда на Пургу не действовала, но я всё равно её кричу. Это как в хоре: если дирижёр перестанет махать руками, пенсионеры всё равно допойот до конца, но им будет обидно.

Я полезла через сугроб вслед за жёлтым пятном, провалилась по пояс, потеряла варежку и чувство собственного достоинства. И вот в таком виде, по пояс в снегу и с одной варежкой, я и встретила начальника промысла.

Он вырос передо мной как столб. Высокий, широкий, в такой же красной парке, как у всех. Но вместо капюшона на голове у него сидела старая норковая ушанка. Одно ухо у шапки было на месте, а вместо второго торчали нитки, и от этого он походил на кота после мартовских боёв. Лицо у него было красное, обветренное, с тяжёлым подборком, брови в инее.

– Чья собака? – рякнул он так, что с крыши ближайшего вагончика съехала шапка снега.

– Моя, – пискнула я из сугроба.

– Вы кто?

– Зоя Ивановна Снегирёва. Новый повар.

Ушанка надо мной качнулась.

– Ступин Геннадий Павлович, начальник промысла. Запомните два правила, Зоя Ивановна. Первое: собака без поводка – штраф пять тысяч. Второе: мясо в борщ кладётся по норме, а не в сумку домой. За это у меня штрафа нет. За это у меня сразу вахтовка обратно. Ясно?

– Ясно, – сказала я, пытаюсь выбраться из снега с достоинством. Достоинства не получилось.

Ступин посмотрел на меня сверху вниз, помолчал и вдруг протянул мне руку в огромной овчинной рукавице. Одним рывком выдернул меня из сугроба, как редиску из грядки, поставил на тропинку и наклонился к моему уху.

– А ещё лучше, – сказал он совсем другим голосом, тихим и усталым, – уезжайте отсюда обратной вахтовкой. Сегодня же. Тут скоро станет очень холодно.

## Глава 2

Никуда я, конечно, не уехала. Во-первых, вахтовка уже укатила обратно, и следующая ждалась только через неделю. Во-вторых, перед глазами стояла зелёная тетрадь с одной строчкой доходов. А в-третьих, я решила, что начальник промысла просто пошутил. На Севере вообще странный юмор. Мой сосед по лестничной клетке, бывший бурильщик Анатолий Фёдорович, например, тридцать лет на каждый Новый год дарит жене купальник. И жена тридцать лет смеётся.

Столовая «Сладкого» оказалась длинным модульным зданием, собранным из вагонов, как детский конструктор. В одном конце зал на семьдесят посадочных мест с клеёнкой в цветочек и телевизором под потолком. В другом кухня. Кухня меня потрясла. В кастрюле, которая стояла на плите, можно было искупать Пургу. Вместе с комбинезоном. В углу гудела промышленная мясорубка размером с пианино «Ростов-Дон», а у стены в ряд стояли десять мешков картошки.

Возле мешков сидела женщина и чистила картошку с такой скоростью, будто соревновалась с мясорубкой. Крупная, широкая в плечах, с красными руками и белым колпаком, который сидел у неё на голове как корона. Из-под колпака на меня уставились два маленьких глаза цвета мокрого асфальта.

– Новенькая? – спросила она без всякой радости.

– Да. Зоя Ивановна. Можно просто Зоя.

– Галина, – буркнула женщина и кинула очищенную картофелину в бак с водой. Бульк.

– Борщ на сто двадцать рыл варила?

– Нет, – честно призналась я.

– Котлеты на сто двадцать рыл лепила?

– Нет.

– А что ты вообще на сто двадцать рыл делала?

Я подумала.

– Пела. В основном «Славное море, священный Байкал». Но их было сорок два.

Галюня, а её, как выяснилось позже, все на промысле звали именно так, причём только за глаза, положила нож и посмотрела на меня с таким выражением, с каким смотрят на таракана, вылезшего из торта.

– Ну кадры, – процедила она. – Ну удружили. Бери нож. Картошку хоть чистить умеешь? Или только петь ей?

Первые два дня я не помню. Вернее, помню их как один бесконечный картофельный сон. Подъём в пять. В шесть завтрак: каша, яичница из двухсот яиц, сосиски, кофе из танка. В шесть тридцать столовая пустеет, а в семь уже пора ставить борщ на обед. Вахтовики едят как кузнечные меха. И слава богу: на морозе по двенадцать часов иначе не протянешь.

На третий день я сделала открытие. Кухня – это тот же хор. У каждой кастрюли своя партия, и главное – вступить вовремя. Лук – это тенора, он начинает первым и доводит всех до слёз. Свёкла – альты, спокойная и густая. Капуста – сопрано, её нужно ввести на финале, иначе разварится и перетянет на себя внимание. А мясо – басы. Без басов борща не бывает, как и хора.

Я принялась дирижировать кастрюлями и тихонько напевать. Дело пошло. Галюня сначала крутила пальцем у виска, потом стала прислушиваться, а к вечеру вдруг сказала, глядя в сторону:

– Слышь, певица. А про «Расцветали яблони и груши» знаешь?

Это было признание в любви. По меркам Галюни, конечно.

А вот первое правило Ступина я нарушила в первое же утро. Пурга, как выяснилось, возле шлагбаума рванула в снег не просто так. Она влюбилась. В песца.

Песец Аудитор жил под столовой третью зиму. Белый, пушистый, с чёрными бусинами глаз и выражением морды как у налогового инспектора, который точно знает, что вы что-то скрыли. Каждое утро он обходил посёлок по одному и тому же маршруту: мусорные баки, крыльцо кухни, вагончики, склад ГСМ. Под складом, как уверяли вахтовики, у него был тайник. Туда на месторождении бесследно исчезали рукавицы, зажигалки, фонарики, куски мыла и однажды целая палка копчёной колбасы.

Уже к обеду первого дня Аудитор проверил и меня. Я вышла на крыльцо вытряхнуть коврик, положила рядом варежку, ту самую единственную, что осталась. Обернулась. Варевки не было. Вдалеке, на снегу, сидел Аудитор и смотрел на меня. В зубах у него была моя варежка. Рядом сидела Пурга в жёлтом комбинезоне и смотрела на песца с обожанием. Даже на снегу сидела. Ради меня она на снег никогда не садилась.

– Предательница, – сказала я.

Пурга даже не обернулась.

Варежки мне выдала Нина Аркадьевна.

О фельдшере «Сладкого» нужно рассказать отдельно. Если вы хоть раз в жизни видели добрую фею из детской сказки, то представьте её лет через сорок. Невысокая, кругленькая, с седыми кудряшками и тёплыми карими глазами, под которыми собирались мелкие морщинки, когда она улыбалась. А улыбалась она постоянно. Поверх белого халата Нина Аркадьевна носила вязаную жилетку с оленями, а в карманах у неё всегда лежали миндальные леденцы, аскорбинка и пластырь.

Она вошла на кухню с кастрюлей, закутанной в полотенце, и с порога сказала:

– Деточка, ты, значит, наша новая повариха? А я тебе пирожков принесла. С капустой и с брусничкой. Первый день самый тяжёлый, всегда поесть забываешь.

Я чуть не расплакалась. На вахте такая женщина – как костёр в тундре: все тянутся к нему греться. Вахтовики называли её «мама Нина», несли ей не только распоротые пальцы, но и разбитые сердца. Говорили, что она лечит простуду морсом, радикулит уколами, а тоску по дому разговорами за чаем. И что третье лекарство у неё действует лучше всех.

Узнав про варежку, Нина Аркадьевна всплеснула руками, увела меня в медпункт и достала из шкафа варевки из собачьей шерсти. Медпункт стоял в тридцати шагах от столовой, и к нему вела аккуратно расчищенная тропинка, даже песком посыпанная.

– Это Семёныч каждое утро чистит, – пояснила она. – Сварщик наш. У него спина болит, я ему по вечерам уколы ставлю, вот он и благодарит. Ты его не пугайся, если встретишь. Он с виду страшный, а внутри как пирожок с повидлом.

В медпункте пахло спиртом, сушёной мятой и брусничным пирогом. На подоконнике цвела герань. На стене висел плакат «Первая помощь при обморожении», а на столе, рядом с журналом приёма, стояла старая фотография в деревянной рамке. Мальчишка лет двадцати в оранжевой каске смеялся, задрал голову. Снимок выпвел, и каска казалась уже не оранжевой, а розовой.

– Сын? – спросила я, примеряя варевки.

Нина Аркадьевна взяла рамку, протёрла стекло рукавом и поставила обратно. Чуть-чуть повернула, чтобы свет от лампы не бликовал.

– Родственник, – ласково сказала она. – Давно это было, деточка. Ну, как варевки, не жмут?

Варежки не жали. Они были тёплые, как сама Нина Аркадьевна.

За три дня я познакомилась почти со всем посёлком. Вахтовик всегда рано или поздно приходит в столовую, а на раздаче, как в исповедальне, человек раскрывается полностью. Кто-

то просит побольше подливки, кто-то не ест лук, а кто-то, как сварщик Идрис, требует показать сосиску сбоку и проверяет на ней надпись.

Комендант посёлка Борис Ильич Кудряшов, совершенно лысый вопреки своей фамилии, ел всегда одно и то же: пюре с котлетой и компот. За едой он читал сводки и вздыхал над каждой так, словно в них сообщалось о конце света.

– Травматизм, – скорбно пожаловался он мне в первый же день. – У нас ноль случаев за три года. Понимаете? Ноль. А если вы порежете палец, будет один. Я вас прошу, режьте осторожно.

Инженер Артём Кравец, худой вежливый парень с тяжёлым подборком, всегда садился в самый дальний угол и читал Достоевского. Не с телефона, а настоящую книгу, толстую и потрёпанную. «Братья Карамазовы». Каждый раз он говорил мне «спасибо» и каждый раз оставлял полтарелки. Никогда не видела человека, который настолько не хочет есть среди ста двадцати голодных мужиков.

Завскладом ГСМ Валера Тушканов, напротив, ел за троих. Улыбчивый, румяный, с золотым зубом и неиссякаемой связкой ключей на поясе, он звал меня «солнце» и предлагал достать что угодно: от новой сковороды до канистры бензина по специальной цене.

– Да у меня и машины нет, – удивилась я.

– Солнце, – наставительно сказал Валера, – машина дело наживное. А бензин по такой цене больше нигде не будет.

Анжелика в розовом пуховике ходила по столовой с планшетом и раздавала анкеты. Анкета называлась «Колесо жизненного баланса». Вахтовики честно заполняли её за обедом. В графе «Что приносит вам радость?» сто четырнадцать человек написали «конец вахты», а шестеро написали «борщ». Я решила считать это личным успехом.

А ещё был Лёха по прозвищу Вайфай, замёрзший долговязый айтишник. Он прибежал в столовую последним, хватал тарелку и тут же начинал жаловаться на жизнь. На спутниковую тарелку, которую заносит снегом. На роутер, который зависает на морозе. И особенно на дизель-генератор.

– Это не генератор, – стонал Лёха, намазывая на хлеб третий кусок масла. – Это трактор «Беларусь», который притворяется генератором. Он вырубается, когда ему скучно. А потом я всю ночь всё перезагружаю. Зоя Ивановна, а можно ещё котлетку?

Трактору «Беларусь» стало скучно на третий вечер.

Я как раз стояла на кухне с полной кастрюлей сырников теста. Вдруг что-то чихнуло, лампы мигнули, и наступила такая темнота, какая бывает только в тундре в январе. Даже в шкафу светлее. Замолчал холодильник, замолчала вытяжка, замолчал телевизор в зале. И в этой тишине Галюня мрачно сказала:

– Ну всё. Приехали.

Пурга взвыла и на ощупь залезла ко мне на руки. Пятнадцать килограммов лайки и кастрюля с тестом – это, знаете ли, серьёзное испытание для женщины в моём возрасте. Ставить кастрюлю было некуда, отпускать Пургу нельзя, и я стояла в кромешной темноте, как статуя «Работница с собакой и сырниками».

Свет дали через сорок минут. Всё это время снаружи гремели, матерились и светили фонарями мужики из энергоцеха. Наконец что-то взревело, лампы вспыхнули, холодильник обиженно заурчал. И все часы на кухне, на микроволновке, на плите, на печи для хлеба, дружно замигали зелёными нолями. 00:00. 00:00. 00:00. Словно время на «Сладком» остановилось и не знало, с чего теперь начинать.

Через десять минут на кухню влетел Лёха, синий от холода и злости.

– Всё, – выдохнул он. – Сервер поднял, связь поднял, часы вам сейчас выставлю. Зоя Ивановна, сколько там на вашем телефоне?

– А камеры? – спросил вошедший следом комендант. – Алексей, камеры работают? У меня в понедельник отчёт по безопасности.

– Работают, Борис Ильич, – устало отмахнулся Лёха. – Пишут. Время только на складских сбилось. Там регистратор в железном шкафу на улице, на морозе. Я его на днях выставлю, когда потеплеет. При сорока восьми там пальцы к кнопкам примерзают.

Комендант покачал лысой головой и ушёл. А я тогда не обратила на этот разговор никакого внимания. Вы бы на моём месте тоже не обратили. У меня скисало тесто.

Ступина я встречала каждый день, и каждый день он был недоволен. На второй день он пришёл на кухню с электронными весами, выловил из борща кусок мяса и взвесил. Мясо оказалось по норме. Ступин посмотрел на весы с таким разочарованием, будто они его лично предали, взвесил ещё один кусок и наконец повернулся к Галюне:

– А вот при прежней поварихе недовес был по тридцать грамм на порцию. И вот что интересно, Шкваркина, – только в ваши смены.

Галюня стала цвета свёклы.

– Премии за январь не будет, – добавил Ступин и ушёл.

В тот же день за обедом я увидела сцену, которая потом повторялась ежедневно, как смена караула. К столу начальника подошла Нина Аркадьевна с таблетницей и стаканом воды.

– Геннадий Павлович, давление.

– Отстань, Нина, – проворчал Ступин, не отрываясь от бумаг. – Живой пока.

– Пока живой, – ласково согласилась фельдшер. – Вот чтобы и дальше были живой, пейте.

И начальник промысла, перед которым тряслись сто двадцать мужиков, послушно проглотил две белые таблетки и запил водой.

– У него сердце слабое, – шепнула мне Галюня из-за плеча. Удивительно, как быстро человек, только что лишённый премии, способен перейти к сплетням. – И закодированный он. Восемь лет в рот не берёт. Потому и злой как собака. Непьющий мужик на Севере – это страшнее сибирской язвы.

А на четвёртый вечер я услышала то, чего слышать мне совсем не полагалось.

Меня послали в контору сдать накладные на продукты. Контора – это такой же вагончик, как все остальные, только с табличкой и фикусом. В коридоре было темно, дверь в кабинет начальника приоткрыта. И из-за неё донёсся голос Ступина. Не крик, а именно тихий голос, от которого у меня по спине поползли мурашки.

– Три цистерны с ноября, Валера. Три. Ты думал, я считать не умею?

– Геннадий Палыч, – забормотал другой голос, и я с удивлением узнала весёлого завскладом. Только сейчас он совсем не был весёлым. – Вы не понимаете. Тут не я один. Тут такие люди...

– Вот и расскажешь про таких людей. Не мне. В понедельник моя докладная уходит в Москву. И не вздумай мне ещё хоть литр слить. Проверю. Иди.

Дверь распахнулась. Я едва успела отскочить к стене и сделать вид, что читаю плакат о пожарной безопасности. Тушканов проскочил мимо меня, не заметив. Лицо у него было серое, словно его только что вытащили из проруби. Золотой зуб больше не сверкал.

Плакат о пожарной безопасности я потом выучила наизусть. Ступин ещё минут пять не выходил, и накладные я так и не сдала. Ушла на цыпочках.

Поздно вечером, когда мы с Пургой вышли на нашу короткую вечернюю прогулку (до первого сугроба и обратно), я увидела его снова. За последним рядом вагончиков, там, где кончались фонари и начиналась тундра, из снега торчал старый металлический крест. На нём трепетал от ветра выцветший пластмассовый венок. И перед крестом стоял Ступин. Без шапки. Свою знаменитую одноухую ушанку он держал в руке, и снег садился ему на лысеющую макушку. При минус сорока пяти.

Он стоял так долго. Потом почувствовал мой взгляд, резко надел ушанку и ушёл в темноту, не оборачиваясь.

– А, крест, – равнодушно сказала наутро Галюня, когда я спросила. – Там пацан молодой погиб. Давно, ещё в девяностые. По пьяни, говорят. На Севере всегда по пьяни.

Тогда я ещё не знала, что через два дня то же самое скажут про самого Ступина.

## Глава 3

Тридцатилетие месторождения «Сладкое» праздновали в субботу. В конторе над дверью повесили растяжку «30 лет трудовой славы!». Над столовой растяжку «Безопасность – наш приоритет!». А на двери медпункта кто-то нарисовал фломастером торт со свечками и подписал: «Мама Нина, с праздником!». Эта надпись понравилась мне больше всех.

На вахте сухой закон. На КПП проверяют каждую сумку, и за бутылку водки человека сажают в ближайшую вахтовку и отправляют домой без всяких разговоров. Поэтому на столах стояли кувшины с клюквенным морсом, который Нина Аркадьевна варила два дня, и бутылки детского шампанского с зайчиком на этикетке. Детское шампанское купил комендант. Вахтовики смотрели на зайчика с такой тоской, с какой смотрят на фотографию бывшей жены.

С утра я варила плов. Не спрашивайте, как можно сварить плов на сто двадцать человек в кастрюле, которая никогда в жизни не видела казана. Отвечу честно: с молитвой. Рецепт мне продиктовала по телефону Зинаида Марковна. Связь то и дело пропадала, и рецепт доходил до меня кусками: «Зира не желей... кррр... чеснок целыми головами... кррр... и главное, Зоя, ни в коем случае не... кррр». Чего нельзя делать ни в коем случае, я так и не узнала. Но подозреваю, что именно это я и сделала.

Галюня пекла «Наполеон». Торт получился размером с дверь от «Урала», и несли его в зал вчетвером. Пурга шла следом и не сводила с торта глаз, как паломница со святыни.

К восьми вечера зал был набит. Мужики сняли красные парки и оказались совершенно разными людьми: в свитерах, в рубашках, один даже в галстук с оленями. В гардеробе на крючках висели сто двадцать одинаковых красных парок, и среди них, как диковинный зверь, свисала одноухая норковая ушанка.

А за окнами начиналась метель. Сначала по стёклам только шуршало, как будто кто-то сыпал на них манку. Потом начало выть. Лёха, проходя мимо раздачи, мрачно сообщил:

– По спутнику дают пургу дней на пять. Зимник закроют, вертолёт не вылетит. Всё, Зоя Ивановна. Мы теперь как на подводной лодке.

– Да ну тебя, – отмахнулась Галюня. – Хоть отдохнём. Начальство из Ноябрьска не приедет.

Первым выступил комендант. Он долго и с выражением читал с бумажки про тридцать лет трудовой славы. Про три года без несчастных случаев он сказал дважды, и оба раза голос у него дрогнул. Потом на середину зала выпорхнула Анжелика в блестящем платье и объявила тимбилдинг.

– А сейчас, – звонко сказала она, – каждый обнимет соседа справа и скажет ему одно тёплое слово!

В зале повисла тишина. Сто двадцать мужиков посмотрели на соседей справа. Соседи справа посмотрели на них. Наконец огромный сварщик Идрис медленно повернулся к своему соседу, худенькому электрику, обнял его так, что у того хрустнуло, и произнёс тёплое слово:

– Сухой закон.

Зал взорвался хохотом. Дальше дело пошло как по маслу.

Ступин сидел за отдельным столиком у окна вместе с комендантом и главным инженером. Он не смеялся, не говорил тостов и даже не искал недовес в плове, что меня, честно говоря, немного задело. Я всё-таки над этим пловом три часа стояла. Он просто смотрел в тёмное окно, где крутилась снежная каша, и крутил в пальцах стакан с морсом.

В половине девятого к нему подошла Нина Аркадьевна. Она была в нарядной бордовой кофточке, с брошью-снежинкой на груди и с вечной таблетницей в руке.

– Геннадий Павлович, вечерние.

– Нина, ты и на празднике... – вздохнул он.

– А давлению всё равно, праздник или нет, – улыбнулась фельдшер. – Вы сегодня и так красный, как свёкла.

Ступин поднял на неё глаза. Посмотрел долго, странно, словно хотел что-то сказать и не решился. Потом взял таблетки с её ладони, бросил в рот и запил морсом.

– Спасибо, Нина Аркадьевна, – сказал он. Тихо и по имени-отчеству, чего за ним раньше не водилось.

Нина Аркадьевна ласково похлопала его по плечу и пошла дальше, к столу бурильщиков, у которых кто-то пожаловался на изжогу от моего плова. Я сделала вид, что не слышала.

А в девять с четвертью произошла сцена, о которой потом сплетничали все, даже те, кто её не видел.

Я несла из кухни поднос с чистыми стаканами и на повороте в тамбур столкнулась с Артёмом. Вернее, он чуть не сбил меня с ног. Тихий вежливый инженер, который каждый день говорил мне «спасибо», вылетел из тамбура с таким лицом, что я прижалась к стене. За ним вышел Ступин.

– Тёма, – сказал он. – Тёма, послушай...

Артём резко обернулся.

– Не смей меня так называть! Ты мне никто! Ты мне не отец! Поздно спохватился, понял? Двадцать семь лет поздно!

И выскочил на улицу, в метель. В одном свитере, без шапки и без парки. Дверь хлопнула, в тамбур влетело облако снега.

Ступин постоял, глядя на дверь. Потом заметил меня с подносом. На секунду мне показалось, что сейчас он скажет про штраф. Но он только провёл ладонью по лицу, словно стирал паутину, и сказал:

– Вы ничего не слышали, Зоя Ивановна.

– Ничего, – согласилась я. И уронила поднос.

Двенадцать стаканов разлетелись по кафелю с таким звоном, что из зала выглянула половина празднующих. На Севере звон стекла слишком похож на нечто праздничное и запрещённое.

Дальше вечер понёсся для меня кувырком. Осколки, веник, добавка плова для бурильщиков, чай, опять чай. Я помню только куски, как рецепт плова по телефону.

Помню, что Ступин снял с крючка парку и свою одноухую ушанку и ушёл. Когда? Кажется, в половине десятого, но поручиться не могу. Я подумала: пошёл спать, человеку с давлением и сыном, который не сын, не до тимбилдинга.

Помню, что Нина Аркадьевна, уже в своём длинном белом пуховике, заглянула на кухню и сказала:

– Зочка, я на полчаса отлучусь. У Семёныча спину скрутило, укол надо. Ты мой торт с брусникой не разрезай без меня, ладно?

Помню, что торт с брусникой всё-таки разрезали без неё, потому что бурильщики – люди нетерпеливые. И что она вернулась только часа через полтора, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, стряхивая снег с платка, увидела пустое блюдо и только руками всплеснула:

– Ну и ладно. Значит, вкусный был.

Помню, что часов в одиннадцать Галюня стянула фартук и сказала, что у неё раскалывается голова и она идёт лежать. С головой у неё, видимо, было серьёзно: уходя, она прижимала к животу большую чёрную сумку, и сумка подозрительно топорщилась.

А потом, в половине первого, случилось чудо.

Метель оборвалась вдруг, как песня на полуслове. Только что выло и стучало в стёкла, и вот тишина. И в этой тишине Лёха, выскочивший покурить, заорал с крыльца диким голосом:

– Народ! Сияние!

Зал опустел за минуту. Даже те, кто видел северное сияние тысячу раз, высыпали на мороз, натягивая парки на ходу. Сияние на Севере как салют: к нему невозможно привыкнуть.

Мы с Ниной Аркадьевной стояли на крыльце столовой, под одной паркой на двоих. Небо было чистое, чёрное, в крупных звёздах, и по нему медленно плыли зелёные ленты. Они то сворачивались, то распускались, как занавес в огромном театре, и по краям вспыхивали розовым. Снег вокруг стал зелёным. И лица у всех стали зелёными, словно мы все разом отравились моим пловом.

Я вытащила телефон, чтобы снять видео для Гошки. Пусть поставит на свой канал, ему приятно, а мне не жалко. На экране светилось 00:32. Видео получилось чёрным с зелёными пятнами, как все видео сияния, снятые на телефон, а сообщение так и не ушло: связь не ловила.

Нина Аркадьевна стояла рядом и молчала. Потом я услышала, что она плачет. Тихо, почти без звука, и слёзы у неё на щеках мгновенно замерзли.

– Вы что? – испугалась я.

– Ничего, деточка, – сказала она и протёрла щёки варежкой. – Красота какая. Один человек очень сияние любил. Вот вспомнилось.

Я обняла её. Она была маленькая и тёплая, и пахла мятой и брусникой. И мы стояли так, пока сияние не начало бледнеть.

А потом Анжелика потащила всех обратно в зал на караоке. Вахтовики пели шансон, комендант спел «Города, где меня нет» и прослезился над собственным исполнением, а потом кто-то заказал «Ой, мороз, мороз», и Нина Аркадьевна потянула меня за руку к микрофону.

И мы спели. Скажу без ложной скромности: мы спели так, что хор «Северные зори» аплодировал бы нам стоя. У Нины Аркадьевны оказалось низкое, бархатное контральто, я вела вторую терцией выше, и на словах «У меня жена, ой, ревнивая» сварщик Идрис достал носовой платок. Анжелика снимала нас на свой планшет и пищала: «Это так ресурсно!»

Нас заставили спеть три раза. Когда мы наконец вернулись к столу, на часах над раздачей, тех самых, что Лёха выставил после отключения, было без четверти час. Помню, что Нина Аркадьевна сжала мне руку и сказала:

– Спасибо тебе, Зочка. Я сто лет так не пела.

Разошлись в два. До трёх я мыла посуду, и последние тарелки вытирала уже со слипающимися глазами. Засыпая, я думала о том, что ни разу за всю жизнь не была на корпоративе такого тёплого, правильного, человеческого. И что хорошо бы завтра извиниться перед бурильщиками за изжогу.

Разбудил меня вой.

Не ветра, ветер стих. Выла собака. Тонко, протяжно, на одной высокой ноте, как дискант на похоронах. Я посмотрела на часы: без четверти семь. Потом на подстилку у батареи. Подстилка была пуста.

Видимо, вечером я так устала, что не закрыла дверь вагончика на щеколду, а Пурга, которая до этой ночи ни разу в жизни сама не выходила на мороз, куда-то ушла. Наверное, к своему песцу. Я натянула пуховик прямо на пижаму, сунула ноги в валенки и выскочила наружу.

Утро было чёрным, как всё январское утро на Севере. Над посёлком стояла полная луна, и в её свете свежие сугробы, наметённые за ночь, сияли синим сахаром. Мороз был такой, что у меня слиплись ноздри. Вой шёл со стороны склада ГСМ.

Я побежала. Вернее, побрела, проваливаясь в свежий снег выше валенок. Склад стоял на отшибе, за гаражами: длинный железный ангар и ряд цистерн на санях. Над воротами горел фонарь, и под фонарём на столбе таращилась серая коробочка камеры.

Пурга сидела у угла ангара в своём жёлтом комбинезоне с уточками и выла, задрав морду к луне. А рядом с ней из сугроба у стены торчал снеговик.

Так мне сначала показалось. Большой белый снеговик, которого кто-то усадил у стены, словно он присел отдохнуть. Снег лежал у него на плечах, на коленях, на голове, ровным пушистым слоем, и только из-под него кое-где просвечивало красное. Красная парка. С буквами «СНГ».

Я подошла ближе. Не знаю, зачем. Ноги шли сами.

Он сидел, привалившись спиной к железной стене склада. Голова чуть свешена на плечо, глаза закрыты, на бровях и ресницах толстый иней. Лицо белое и гладкое, спокойное, как у спящего. Рядом, наполовину занесённая, валялась ушанка с одним ухом. От него слабо, но отчётливо пахло водкой.

А руки лежали на коленях, ладонями вверх, белые и твёрдые, как парафин. Голые. Огромных овчинных рукавиц, в которых он выдернул меня из сугроба в первый день, нигде не было.

– Геннадий Павлович, – шёпотом сказала я. – Геннадий Павлович, вставайте. Пожалуйста.

Он не встал. Он уже никогда не встанет, поняла я. И тогда я закричала так, как не кричала никогда в жизни, даже когда бас Иннокентий Петрович вступил в «Надежде» на такт раньше при главе города.

Пурга замолчала и прижалась к моим ногам. А над нами, на краю крыши склада, сидел Аудитор и смотрел вниз чёрными бусинами глаз. Спокойно и внимательно, как свидетель, который знает гораздо больше, чем скажет. Впрочем, так оно и было.

## Глава 4

Первым на мой крик пришёл волк.

Он вынырнул из темноты со стороны гаражей, огромный, серый, с жёлтыми глазами, и остановился в трёх шагах от меня. Пурга взвизгнула и спряталась у меня за ногами. Я хотела закричать ещё раз, но голос куда-то делся, и из горла вышел только тонкий сип, как из проколотой камеры.

– Байкал, сидеть, – сказал хриплый голос.

Волк сел.

Следом из темноты вышел человек. Высокий, сутулый, в старом ватнике нараспашку и в шапке, завязанной под подбородком. Шёл он медленно, держась одной рукой за поясницу. Лицо у него было тёмное, в глубоких морщинах, а на пальцах руки, которой он держался за спину, синели наколки. Я разглядела на костяшках буквы, но от страха не сумела их прочесть.

Человек посмотрел на меня, потом на Ступина. Долго смотрел. Потом снял шапку.

– Не трогай его, – сказал он. – Стой тут. Я людей позову.

И ушёл обратно в темноту, медленно, всё так же держась за спину. Волк ушёл за ним. А я осталась стоять возле мёртвого начальника промысла с лайкой в жёлтом комбинезоне и думала только об одном: хорошо, что я в валенках. В тапочках я бы уже тоже стала снеговиком.

Через десять минут возле склада было полпосёлка.

Комендант Кудряшов прибежал в унтах, надетых прямо на пижамные штаны в голубую клетку. Пижама выглядывала из-под пуховика и придавала ему вид пенсионера, которого разбудили сообщением о пожаре. Лёха светил фонарём. Анжелика в розовом пуховике держала телефон с включённым фонариком над головой, как статуя Свободы. Подошли сварщик Идрис, несколько бурильщиков, Галюня в платке поверх бигуди. Последним пришёл Артём. Он встал чуть в стороне, посмотрел на Ступина и сразу отвернулся. Лицо у него было белое, белее снега.

А потом толпа расступилась, и к телу подошла Нина Аркадьевна. В своём длинном белом пуховике, с медицинским чемоданчиком в руке. Она поставила чемоданчик на снег, опустилась на колени и сняла варежку.

– Свети сюда, Алёша, – тихо сказала она.

Лёха направил фонарь. Нина Аркадьевна оттянула Ступину веко, посмотрела. Потом попыталась согнуть его руку в локте. Рука не согнулась. Тогда она попробовала разжать пальцы. Пальцы были как деревянные.

– Окоченел совсем, – сказала она. – Часов восемь-девять, не меньше.

Потом наклонилась к самому лицу Ступина и потянула носом.

– Спиртным пахнет.

По толпе прошёл шёпот. Комендант встрепнулся, будто его ударили током.

– Так, – сказал он. – Так. Всё ясно. Выпил и замёрз. Несчастный случай.

– Где же он взял спиртное? – спросила я. Голос ко мне наконец вернулся. – У вас же сухой закон.

– Пронёс! – Комендант всплеснул руками, и пижама снова выглянула из-под пуховика. – Они все проносят! В грелках проносят, в банках из-под огурцов, в шампуне! В прошлом году один в огнетушителе пронёс, вы представляете? Пятнадцать литров! Мы три месяца понять не могли, почему он так часто проверяет огнетушитель.

– А рукавицы где? – не унималась я. – У него были огромные овчинные рукавицы. Я сама видела.

Нина Аркадьевна подняла на меня глаза. Добрые, тёплые, усталые.

– Это бывает, деточка, – сказала она. – Когда человек замерзает, ему в самом конце становится жарко. Кровь приливает к коже. Он раздевается, снимает шапку, перчатки, иногда даже куртку. Это называется парадоксальное раздевание. Рукавицы где-то здесь, в снегу.

Идрис и двое бурильщиков потоптались вокруг, разгребая сугробы ногами. Рукавиц не нашли. Да и как их найти, если за ночь намело по колено, а вокруг темнота хоть глаз выколи.

– Весной найдутся, – махнул рукой комендант. – Так. Тело надо убрать. Алексей, пошли в радиорубку, будем звонить в Ноябрьск.

Звонили они долго. Я узнала об этом от Лёхи, который потом пересказывал разговор всей столовой, как сериал. Сначала комендант позвонил в головной офис. В офисе долго молчали, а потом велели звонить в полицию. В полиции сказали, что всё понимают, но погода нелётная, а зимник закроют с минуты на минуту, так что следователь приедет, как только будет возможность. А пока тело велели перенести в холодное помещение, место огородить и ничего не трогать.

Пустой вагон-рефрижератор стоял за столовой. Когда-то в нём хранили мясо, но холодильная установка сломалась ещё при прошлом коменданте, и с тех пор вагон стоял просто так, промёрзший насквозь. Туда Ступина и отнесли на носилках из медпункта. Несли вчетвером: Идрис, Лёха и двое бурильщиков. Комендант шёл сзади и светил фонарём. Потом он повесил на дверь вагона замок, а ключ положил в нагрудный карман пижамы.

Место возле склада огородили красно-белой лентой. Лента трепетала на ветру и выглядела на снегу так нелепо, будто кто-то решил украсить тундру к празднику.

А я пошла готовить завтрак.

Вернее, я пошла его готовить, но завтрак уже был готов. На кухне стояла Галюня, всё в том же платке поверх бигуди, и мешала в котле овсянку.

– Сядь, – сказала она, не оборачиваясь.

– Мне надо яичницу...

– Сядь, говорю. Яичницу сделаю. Белая вся, как простыня. Ещё упадёшь мне тут в котёл, вытаскивай тебя потом.

Я села на мешок с картошкой. Пурга улеглась у моих ног и положила морду мне на валежок. Руки у меня тряслись. Я никогда в жизни не видела мёртвого человека так близко. Нет, вру. Видела. Папу. Но папа лежал в гробу, в костюме, причёсанный, и был похож на себя спящего. А Ступин сидел у железной стены, как снеговик, с белыми руками на коленях, и был похож на страшную сказку, которую рассказывают детям в пионерском лагере после отбоя.

– Закодированный ведь, – вдруг сказала Галюня, громко стуча половником по краю котла. – Восемь лет в рот не брал. Я тебе говорила.

Говорила. Я вспомнила, как она шептала мне это из-за плеча в первый же день, когда Ступин послушно пил таблетки. «Непьющий мужик на Севере – это страшнее сибирской язвы».

– Значит, сорвался, – неуверенно сказала я.

– Сорвался, – хмыкнула Галюня. – Восемь лет держался, а тут сорвался. Посреди метели. У склада. Один. Ну-ну.

Она грохнула половником о котёл так, что Пурга подскочила, и больше в то утро не сказала ни слова.

Часов в девять в кухню заглянула Нина Аркадьевна. Она уже сняла пуховик и была в своём белом халате и жилетке с оленями. В руках она держала литровую банку, закрытую пластмассовой крышкой. На крышке была наклейка из лейкопластыря, а на наклейке синей ручкой, печатными буквами, было написано: «МОРС. ЗОЕЧКЕ. ПИТЬ ТЁПЛЫМ».

У Нины Аркадьевны была смешная привычка: все «Т» она перечёркивала поперёк ножки маленькой чёрточкой, отчего буквы становились похожи на крошечные кресты. Я ещё подумала тогда: наверное, так пишут медики, чтобы в рецепте ничего не перепутать.

– Это тебе, деточка, – сказала она. – От нервов. Клюква с мёдом и с мятой. Выпей вечером, поспи. Ты сегодня такое увидела, не дай бог никому.

Я взяла банку и вдруг, неожиданно для себя самой, спросила:

– Нина Аркадьевна, а как же он мог напиться? Он же закодирован.

Нина Аркадьевна вздохнула и присела рядом со мной на соседний мешок.

– Ох, Зочка. Я сорок пять лет в медицине. Кодированные срываются страшнее всех. Держится человек, держится, год, пять, восемь. А потом раз – и всё. Как плотину прорвало. И пьёт уже не как все, а так, будто восемь лет навестать хочет. Сердце у него было плохое, давление. Ему много и не надо было. Выпил, вышел на мороз, присел отдохнуть – и уснул. На морозе так засыпают, деточка. Тихо-тихо. Как в постели.

Она погладила меня по руке. Рука у неё была тёплая.

– А рукавицы? – тихо спросила я.

– Рукавицы найдутся, – уверенно сказала Нина Аркадьевна. – Весной всё находится. И рукавицы, и шапки, и даже, прости господи, люди.

Она ещё немного посидела, потом встала, поправила жилетку и ушла к себе в медпункт. А я осталась сидеть на мешке с банкой морса в руках.

В обед комендант собрал всех в столовой. Он успел переодеться в костюм и даже повязал галстук, и выглядел теперь не пенсионером на пожаре, а пенсионером на похоронах. Впрочем, так оно и было.

– Товарищи, – сказал он и откашлялся. – Коллеги. Сегодня ночью трагически погиб наш начальник промысла Геннадий Павлович Ступин. Предварительно установлено, что смерть наступила от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения. Полиция в курсе. Как только позволит погода, прилетит следователь. До его приезда прошу место происшествия не посещать, к вагону номер семь не подходить. И ещё...

Он обвёл столовую тяжёлым взглядом.

– Я выясню, кто пронёс на промысел спиртное. И этот человек вылетит отсюда первым же вертолётom. С волчьим билетом. Ясно?

Сто двадцать мужиков молча смотрели в свои тарелки. Никто не поднял головы.

А за окнами в это время снова начало мети. Утром небо было чистым, с крупными звёздами, а к полудню его затянуло серой ватой, и по стёклам опять зашуршала снежная манка.

– Ну всё, – сказал Лёха, глядя в окно с тарелкой борща в руках. – Это теперь надолго. На неделю минимум. Я ж говорил: мы на подводной лодке.

Я мыла посуду после обеда, и в голове у меня крутилась одна и та же фраза. Не мысль, а именно фраза, как застрявшая пластинка: «Тут скоро станет очень холодно». Так сказал мне Ступин в первый вечер, когда выдернул меня из сугроба. Что он имел в виду? Мороз? Метель? Или что-то совсем другое?

И ещё я думала про рукавицы. Огромные, овчинные, которые он ни разу не снимал на улице. Про ушанку с одним ухом, которая лежала рядом с ним, аккуратно, будто её положили, а не уронили. И про то, что человек, который восемь лет не пьёт, не станет напиваться в одиночку у склада горюче-смазочных материалов в разгар праздника, на котором его все видят трезвым.

Я домыла последнюю тарелку, вытерла руки и посмотрела на Пургу. Пурга посмотрела на меня.

– Знаешь что, – сказала я ей. – Мне кажется, кто-то ему налил.

Пурга вздохнула и положила голову на лапы. Она была со мной согласна. А может, просто хотела спать.

Если кто-то ему налил, подумала я, то этот кто-то сейчас здесь. Никуда не уехал и никуда не уедет, потому что зимник закрыт, вертолёт не летает, а вокруг на двести тридцать километров одна тундра. Этот кто-то сегодня ел мой борщ. И, может быть, даже попросил добавки.

От этой мысли мне стало так холодно, как не было даже утром у склада.

## Глава 5

Сотовой связи на «Сладком» нет. Вернее, она есть, но только в одном месте: на крыше столовой, возле трубы, если встать на цыпочки и поднять телефон над головой. Там иногда появляется одна полосочка. Вахтовики называют это место «телефонной будкой» и лазят туда по пожарной лестнице звонить жёнам. Говорят, один бурильщик сделал там предложение руки и сердца, а потом не смог слезть, потому что примёрз ладонями к перилам. Свадьбу отложили на месяц.

В метель на крышу не полезет даже влюблённый бурильщик. Поэтому после ужина я отправилась в радиорубку к Лёхе. Там стоял спутниковый телефон, единственная ниточка, которая связывала нас с большой землёй.

Радиорубка оказалась крошечным вагончиком, набитым проводами, мигающими коробками и пустыми кружками. На стене висел календарь с котятами за позапрошлый год. Сам Лёха сидел в наушниках перед двумя мониторами и что-то сосредоточенно жевал.

– Зоя Ивановна? – удивился он и стянул наушники. – Что-то случилось? Ещё что-то?

– Мне нужно позвонить, – сказала я. – В Ноябрьск. Очень нужно.

Лёха вздохнул так, будто я попросила у него почку.

– Минута – сорок рублей. Комендант потом с зарплаты вычтет. И связь плохая, предупреждаю.

– Звони, – сказала я и продиктовала номер.

Тимур Байрамов ответил после пятого гудка. Голос у него был сытый и недовольный, как у кота, которого согнали с батареи.

– Байрамов.

– Тимур, это Зоя.

На том конце помолчали.

– Снегирёва, – сказал наконец Тимур таким тоном, каким врач сообщает диагноз. – Ты откуда звонишь? Номер какой-то космический.

– С вахты. С месторождения «Сладкое». Я тут повар.

– Ты? Повар? – Тимур закашлялся. Похоже, он подавился. – Зоя, ты же яичницу сжигаешь. Я помню выпускной.

На выпускном я действительно сожгла яичницу. На спор, в кабинете химии, на спиртовке. Но это было двадцать шесть лет назад, и с тех пор я многому научилась. Кроме того, я вытащила Тимура из крещенской проруби, когда он полез туда за компанию с начальником и ушёл под лёд с головой. Так что право напоминать мне про яичницу он, по-моему, давно утратил.

– Тимур, у нас убили человека, – сказала я.

Он перестал кашлять.

Я рассказала всё по порядку. Про Ступина, про сугроб, про голые руки и пропавшие рукавицы. Про запах спиртного и про то, что Геннадий Павлович восемь лет не пил. Лёха делал вид, что не слушает, но наушники так и не надел.

– Подожди, – сказал Тимур, когда я закончила. – Кто сказал, что его убили?

– Я.

– А кроме тебя?

– Никто. Комендант говорит, выпил и замёрз. Фельдшер говорит, кодированные ссылаются.

– Фельдшер правильно говорит, – вздохнул Тимур. – Зоя, я пятнадцать лет в полиции. Знаешь, сколько у нас таких «подснежников» за зиму? Выпил, пошёл, присел, уснул. Каждый второй был «не пьющий». Каждого первого «кто-то напоил». А потом вскрытие – и сам.

– Но рукавицы...

– Замерзающие раздеваются. Это тебе фельдшер тоже сказала, я угадал?

Я промолчала.

– Ладно, – сказал Тимур уже мягче. – Это не мой район. Но я позвоню ребятам, узнаю, кто поедет. Как только откроют зимник или полетит вертолёт, приедет следователь, вскроют, разберутся. А ты сиди и вари борщ. Слышишь? Никуда не лезь.

– Я и не лезу.

– Ты всегда лезешь. Ты в девятом классе полезла выяснять, кто украл журнал, и тебя заперли в учительской на выходные.

– Журнал украл Петров!

– Знаю, что Петров. Я про учительскую. Зоя, обещай мне.

– Обещаю, – сказала я и скрестила пальцы в кармане. Этой привычке тоже двадцать шесть лет.

Тимур помолчал. Я слышала, как у него в квартире бубнит телевизор.

– Камеры там есть? – вдруг спросил он.

– Какие камеры?

– Обыкновенные. Склад ГСМ – объект охраняемый, там обязательно что-нибудь висит. Пусть ваш связист посмотрит запись и сохранит. И скажи коменданту, чтоб не стирал ничего. Это не расследование, это просто чтобы не пропало. Поняла?

– Поняла.

– И, Зоя, ещё одно. Хочешь пользу принести, возьми тетрадку и запиши, кто где был на этом вашем празднике. Кто когда ушёл, кто когда пришёл. Пока все помнят. Следователю пригодится. Это можно. Всё остальное нельзя.

И он отключился. Сорок рублей в минуту, я понимаю.

Лёха уже щёлкал мышкой.

– Есть камера, – сказал он, не оборачиваясь. – Над воротами склада. Я её сегодня уже смотрел, между прочим. Тушканов утром прибежал, просил запись затереть.

– Зачем? – насторожилась я.

– Говорит, начальство увидит, что он ночью на складе шастал, а у нас запрет на работы во время корпоратива. Премии лишат. – Лёха пожал плечами. – Я не стал затирать. Мало ли. Вот, смотрите.

На мониторе появилась чёрно-белая картинка. Ворота склада, столб с фонарём, кусок сугроба. В правом нижнем углу светились белые цифры: дата и время. Снег летел наискосок такими густыми хлопьями, что фонарь казался размытым пятном, как луна сквозь занавеску.

– Вот, – Лёха ткнул пальцем в экран. – Ноль часов двадцать пять минут.

В кадре появилась фигура в парке с капюшоном. Человек шёл, согнувшись, и тянул за собой волокушу, на которой подпрыгивали пустые канистры. Лица видно не было. Но походку я узнала: так ходил только Тушканов, вразвалку, широко загребая ногами, будто под ним всё время качалась палуба. Он прошёл в ворота и исчез за углом ангара.

– Обратно он через ворота не выходил, – сказал Лёха. – Я всю ночь промотал. Там сзади, за цистернами, есть проход к гаражам, наверное, через него ушёл.

– А это? – спросила я.

Потому что Лёха уже перемотал дальше, и цифры в углу показывали 00:40.

В кадр вошёл человек. Высокий, широкий, в красной парке, но без капюшона. На голове у него сидела ушанка, и даже сквозь метель, даже в чёрно-белом, даже на этой мутной картинке было видно, что у ушанки только одно ухо. Человек шёл медленно. Один раз он остановился, словно прислушиваясь, потом двинулся дальше, мимо ворот, вдоль стены ангара, к тому самому углу, где я нашла его утром. И исчез из кадра.

Больше на записи никого не было. До самого утра. Только снег, фонарь и в шесть сорок восемь маленькая фигурка в пуховике, а рядом с ней что-то светлое на четырёх ногах. Это была я с Пургой. Только время на записи стояло другое, почти десять.

– Ты время на камере так и не поправил? – спросила я.

– Не, – смутился Лёха. – Всё некогда. Там шкаф на улице, на таком морозе руки к кнопкам примерзают. Оно после отключения сбилось. Но ночью-то, наверное, не сильно. Час туда, час сюда.

Я кивнула. Час туда, час сюда, какая разница.

Я смотрела на маленькую фигурку в одноухой ушанке, застывшую на экране, и у меня в голове медленно, как в старом арифмометре, проворачивались цифры. Сорок минут первого. Геннадий Павлович был ещё жив в сорок минут первого.

В сорок минут первого я стояла на крыльце столовой, под одной паркой с Ниной Аркадьевной, и смотрела на северное сияние. Потом мы пошли петь «Ой, мороз, мороз». Это видели все.

Дверь радиорубки скрипнула, и в неё вместе с облаком снега вошла Нина Аркадьевна. В белом пуховике, в пуховом платке, с кульком в руке.

– Алёша, ты за обедом кашлял, – сказала она с порога. – Я тебе леденцов принесла, с шалфеем. Ой, Зочка, и ты тут. А что это вы смотрите?

Она подошла к монитору, наклонилась и вдруг замерла. Лёха нажал на паузу, и на экране снова застыла фигурка в одноухой ушанке.

– Это Геннадий Павлович, – тихо сказала я. – В сорок минут первого. Идёт к складу.

Нина Аркадьевна долго смотрела на экран. Потом выпрямилась и прижала ладонь к груди.

– Господи, – сказала она. – Значит, в первом часу он ещё живой шёл. А я-то утром сказала, часов восемь-девять. Старая я дура. На морозе окоченение быстрее наступает, всё за пару часов схватывается. Поторопилась я. Хорошо хоть следователю этого не сказала.

– Вы же не судмедэксперт, – утешил её Лёха. – Вы фельдшер.

– Фельдшер, – вздохнула Нина Аркадьевна. – Сорок пять лет в медицине, а всё учусь. На, Алёша, соси по одному, не грызи.

Она положила кулёк с леденцами на стол, погладила меня по плечу и ушла. Снег снова ворвался в дверь и растаял на полу.

Лёха скинул запись на флешку и торжественно вручил её мне.

– Для следователя, – сказал он. – А ещё одна копия у меня на сервере. И ещё одна в облаке, если спутник не сдохнет. Я ж не дурак.

Я сунула флешку во внутренний карман пуховика, к сердцу.

Потом, раз уж связь всё равно была, я позвонила домой. Не по спутнику, по интернету, через Лёхин вай-фай, который в радиорубке ловил лучше, чем где-либо ещё на «Сладком». Трубку взял Гошка.

– Зая! – заорал он так, что Пурга подпрыгнула. – Ты жива? Бабушка тут уже второй день корвалол пьёт, ты не звонишь!

– Жива, – сказала я. – Тут... погода плохая.

Про Ступина я рассказывать не стала. Зинаида Марковна после такой новости перешла бы с корвалола на коньяк, а это при её давлении опасно.

– Зая, а сияние видела? – не унимался Гошка. – У нас тут вчера по всему городу было! Скинь, если сняла, мне для канала!

Я вспомнила, что видео с крыльца так и висит у меня в телефоне неотправленным. Нажала на кнопку. Кружочек повертелся, повертелся и превратился в галочку. Видео ушло.

– Класс! – обрадовался Гошка. – Ноль тридцать две, ночь, тундра, сияние! Подписчики порвутся! А это кто рядом с тобой плачет?

– Никто, – сказала я. – Ветер.

Гошка ещё что-то кричал, Зинаида Марковна в трубке требовала надеть тёплые носки, но связь мигнула и пропала.

Обратно я шла сквозь метель, держась за натянутый вдоль вагончиков трос, как альпинист за страховку. Пурга шла рядом, уткнувшись носом мне в колено. Флешка грела грудь.

В своём вагончике я налила морса из баночки с надписью «ЗОЕЧКЕ», села за откидной столик и достала из сумки зелёную тетрадь. Ту самую, где на первой странице было написано «Пенсия З. М.», а на следующих двух мелким почерком расходы. Я перевернула тетрадь вверх ногами, открыла с конца и на чистой странице написала: «Кто где был».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.